

## ПРОЛОГ

Я человек невидимый... Нет, вовсе не из тех темных призраков, что тревожили Эдгара Аллана По; и к вашим голливудским эктоплазмам тоже себя не отношу. Я человек из плоти и крови, из волокон и жидкостей... можно даже сказать, наделенный разумом. А невидим я, извольте понимать, оттого, что люди отказываются меня видеть. Подобно бестелесным головам, которые изредка показывают в бродячих цирках, я вроде как окружен прочными кривыми зеркалами. Оказываясь рядом со мной, посторонние видят только то, что меня окружает, видят самих себя или плоды своего воображения — да все что душе угодно, только не меня.

Моя невидимость, строго говоря, не обусловлена какой-нибудь биохимической случайностью, приключившейся с моим эпидермисом. Та невидимость, о которой идет речь, является результатом характерного обмана зрения тех, с кем я вступаю в контакт. Так устроен их внутренний взор — тот фильтр, сквозь который они смотрят на мир своими обычными глазами. Я не жалею и даже не протестую. У того, кто невидим, есть свои преимущества, хотя зачастую собственная невидимость сильно мешает жить. А кроме того, на тебя то и дело натываются эти слабовидящие. Ты уже начинаешь сомневаться: кто ж я таков именно? Задаешься вопросом: уж не фантом ли ты, рожденный чужим воображением? Какой-нибудь, скажем, противоположный элемент из ночного кошмара, тщетно, хотя и упорно изничтожаемый спящим. Когда тебя мучит подобное ощущение, ты со злости сам можешь стукнуться с другими. А мучит оно тебя, признаюсь,

почти всегда. До конвульсий доводит необходимость внушать самому себе, что ты существуешь в реальном мире, что сросся с этим шумом и надрывом, и в результате ты начинаешь размахивать кулаками, ругаться и проклинать всё и вся, лишь бы только тебя узнали. Но увы, такое удается редко.

Раз поздним вечером я случайно натолкнулся на какого-то прохожего; вероятно, из-за того, что тьма сгустилась еще не полностью, он меня разглядел и бросил мне в лицо оскорбительную кличку. Я кинулся на него, схватил за лацканы и потребовал извинения. Прохожий, рослый блондин, оказался со мной лицом к лицу, нагло сверлил меня голубыми глазами, обзывался, стараясь вырваться, и обжигал мне щеку своим дыханием. Я резко нагнул ему башку и саданул макушкой в нижнюю челюсть. Такой прием я позаимствовал у пуэрториканцев и сейчас почувствовал, как на подбородке у незнакомца лопнула кожа и из раны хлынула кровь; я завопил: «Проси прощенья! Проси прощенья!» Но этот хам знай сыпал бранью и вырывался, а я наносил ему удар за ударом, пока он, весь в крови, не упал мешком на тротуар. Отбуцкал я его по первое число! Да еще в ярости вытащил складной нож, стал открывать его зубами и уже готов был перерезать незнакомцу глотку, прямо там, на безлюдной улице, под фонарем, но тут мне пришло в голову, что на самом-то деле он меня не видел, а просто решил, будто ему пригрелся ходячий ночной кошмар! И я отпустил лезвие — оно рассекло воздух — и оттолкнул этого придурка: пусть валялся бы на улице. Я вперился в него взглядом, и тут тьму вспомнили фары проезжавшей машины. А он, лежа на асфальте, все стонал — человек, едва не убитый призраком. Я взбесился. Меня трясло от стыда и гадливости. Как пьяный, я с трудом держался на подкосившихся ногах. А потом развеселился: не иначе как из тупой башки этого типа оторвалась какая-то штукавина и чуть было его не укукошила. От этого

безумного открытия меня разобрал хохот. Может, на пороге смерти ему довелось очнуться? Может, сама Смерть выпустила его в бессонную жизнь? Но медлить я не стал. Бросился в темноту, лопаюсь от гогота. А на другой день увидел его фото в «Дейли ньюс» в рубрике «Жертвы уличной преступности». «Болван несчастный, несчастный слепой болван, — думал я с искренним состраданием, — угораздило же тебя стать жертвой уличного невидимки!»

Теперь я почти всегда (хотя никоим образом не отрицаю своих былых выходов) воздерживаюсь от неприкрытой жестокости. Держу в уме, что я — человек невидимый, и мягко ступаю по земле, дабы не тревожить спящих. Порой лучше их не будить: мало найдется опасностей хуже сомнамбул. Со временем до меня дошло, что можно вести с ними борьбу даже неосознанно. К примеру, я веду борьбу с энергетической компанией «Монополейтед лайт энд пауэр». Пользуюсь ее услугами, которые не оплачиваю, а работники об этом не ведают ни сном ни духом. Нет, подозревают, конечно, что есть утечка электроэнергии, но вопрос — где. Контрольный счетчик у них на станции показывает, что до фига электричества утекает в джунгли Гарлема. Вся штука, разумеется, в том, что живу я не в Гарлеме, а на границе соседнего района. Несколько лет назад (еще не открыв для себя всех преимуществ невидимости) я привычно пользовался коммунальными услугами и вносил за них невероятные суммы. Но всему есть предел. От этой практики я отказался, равно как и от своего жилища, и от прежнего образа жизни. А прежний образ жизни базировался на ошибочном представлении о том, что меня, как и других людей, видно невооруженным глазом. Нынче, убедившись в своей невидимости, я не плачу ни шиша за жилплощадь в доме, населенном исключительно белыми, но занимаю ту часть подвала, которую заколотили и забыли еще в девятнадцатом веке; это подполье я обнаружил в тот

вечер, когда спасался бегством от Раса-Крушителя. Но не стану опережать события, заглядывая почти в конец, хотя конец находится в начале и лежит далеко впереди.

Так вот, суть в том, что я нашел себе угол — или, если изволите, берлогу. Здесь не делайте поспешных выводов: мол, раз я называю свое жилище «берлогой», то там сырость и кладбищенский холод; бывают берлоги холодные, а бывают и теплые. Моя — теплая. Заметьте: под зиму медведь устраивается в берлоге и дрыхнет там до весны, а потом выходит на свет, как пасхальный цыпленок из скорлупы. Это я к тому, чтобы вы не заблуждались: если я говорю, что невидим глазу и залег в берлоге, это вовсе не значит, что я умер. Нет, я не умер, но и не утверждаю, что бодр и весел. Зовите меня Джек-Медведь, ибо я впал в продолжительную спячку.

Берлога у меня не только теплая, но и залита светом. Именно так: залита светом. Вряд ли во всем Нью-Йорке, включая Бродвей, найдется местечко светлее моей берлоги. Или, к примеру, включая Эмпайр-стейт-билдинг, ночную мечту фотографа. Но я злоупотребляю вашим вниманием. Эти два места — самые темные во всей нашей цивилизации... прошу прощения, в нашей культуре (говорят, различие весьма существенно): можно подумать, это уловка или противоречие, но как раз ими (то есть, я хочу сказать, противоречиями) движется мир. И не как стрела, а как бумеранг. (Остерегайтесь тех, кто говорит об историческом развитии по спирали: они прячут за спиной бумеранг. Держите под рукой стальной шлем!) Уж я-то знаю: столько раз получал по голове бумерангом, что теперь вижу мрак света. А я люблю просто свет. Наверное, вам покажется странным, что человек невидимый жаждет света, тянется к свету, любит свет. Но, быть может, это как раз оттого, что я и вправду человек невидимый. Свет подтверждает мое существование, порождает мой облик. Как-то я услышал от одной красивой

девушки, что ее преследует страшный сон: будто бы она, лежа в центре большой темной комнаты, чувствует, как расширяется ее лицо и заполняет собой все свободное пространство; сама она тем временем превращается в бесформенную массу, а глаза, как два студенистых комка, вылетают в дымоход. Со мной происходит нечто подобное. Без света я не только невидим, но и бестелесен, а не ощущать свое тело — все равно что жить смертью. Сам я существовал двадцать лет и, лишь обнаружив свою невидимость, ожил.

Вот почему я вражду с «Монополейтед лайт энд пауэр». Чем глубже причина, я считаю, тем сильнее вражда: это дает мне возможность почувствовать свою живучесть. А еще потому я вражду с этой конторой, что она отняла у меня уйму денег, пока я не научился защищаться. У меня в подполье ровным счетом тысяча триста шестьдесят девять лампочек. Весь потолок покрыт сетью электропроводки, каждый дюйм. Причем лампочки у меня не энергосберегающие, а старого образца, мощные, с нитью накаливания. Как акт саботажа, понимаете, да? Я уже и по стенам начал тянуть проводку. Есть у меня знакомый старьевщик, человек заправливый — подогнал мне и провода, и розетки. Никакие бедствия — ни ураганы, ни потопа — не должны лишать нас света, и пусть он разгорается все сильнее и ярче. Ведь истина есть свет, а свет есть истина. Вот оборудую все четыре стены — и примусь за пол. Как это повернуть, еще не придумал. Но кто с мое поживет невидимкой, у того прорежется определенная сообразительность. Решу и этот вопрос. Возможно, изобрету такую приспособу, которая будет мне кофе варить, пока я в постели лежу, наподобие той, что видел на картинке в одном журнале: там умелец себе смастерил устройство для согрева башмаков! Я, даром что человек невидимый, мастер что надо, продолжатель великой американской плеяды умельцев. Это ставит меня в один ряд

с Фордом, Эдисоном и Франклином. Поскольку вооружен я и теорией, и практикой, можете звать меня «мастеровой с головой». Да, и башмаки себе буду согревать, им это не помешает, они давно каши просят. И еще много чего придумаю.

Но пока что у меня из электроприборов — один патефон; планирую установить пять штук. В моей берлоге веет какой-то акустической мертвечиной, а когда обзаведусь аппаратурой, смогу улавливать вибрацию музыки — не только ушами, но и всем телом. Хотелось бы на всех пяти слушать запись Луи Армстронга «Моя ль вина, что кожа, как тоска, черна?» — причем одновременно. Покамест я ставлю Луи только под любимый десерт: ванильное мороженое с терновым джином. Поливаю белый шарик бордовой жидкостью, смотрю, как она поблескивает, как над шариком поднимается пар, а рядом Луи извлекает из военного инструмента луч лирического звука. Луи Армстронг, вероятно, полюбился мне тем, что поэзию создает из своей невидимости. Наверное, у него потому так классно получается, что о своей невидимости он даже не подозревает. А мое личное понимание невидимости помогает мне понять его музыку. Однажды я на улице стрельнул покурить, но тот шутник подсунул мне косяк; принес я его домой, затянулся и сидел, слушал патефон. Странный выдался вечер. Невидимость — вы этого, наверно, не изволите понимать — слегка меняет ощущение времени. Ты то забегаешь вперед, то запаздываешь. Вместо быстрого и незаметного течения времени получаешь его узловые моменты, те точки, где оно останавливается или делает скачок вперед. А ты вклиниваешься в паузы и озираешься. Вот что смутно слышится в музыке Луи.

Раз я видел, как боксер-тяжеловес дрался с каким-то «чайником». Боксер показал себя быстрым и потрясающе техничным. Его тело превратилось в один сплошной поток стремительных, ритмичных движений. Он нанес «чайнику»

сотню ударов, а тот, подняв руки, застыл в обалдении. Но внезапно этот «чайник», шатавшийся под мельгешением боксерских перчаток, нанес один-единственный удар, который сокрушил профессионалу и технику, и скорость, и разножку с таким хладнокровием, будто попал пониже спины землекопу. Чемпион рухнул на ринг. Случилось небывалое. «Чайник» просто заступил в ощущение времени своего противника. Так и я, подкурив, открыл новый для себя аналитический способ приобщения к музыке. До меня доносились неслышные звуки, и каждая мелодическая строка существовала независимо, совершенно отличная от других, произносила свою реплику и терпеливо ждала вступления других голосов. В тот вечер я обнаружил, что слышу не только во времени, но и в пространстве. Я не только вошел в музыку, но и спустился в ее преисподнюю, как Данте. И под стремительностью горячего темпа открылся темп замедленный и разверзлась пещера, куда я вошел, огляделся и услышал, как незнакомая старуха поет спиричуэлс, исполненный вселенской скорби фламенко, а внизу открывался еще один уступ, где сидела прекрасная девушка цвета слоновой кости, молившая о чем-то голосом, совсем как у моей матери, кучку рабовладельцев, которые торговались за ее нагое тело, а еще ниже был другой уступ, и ускоренный темп, и кто-то прокричал...

— Братья и сестры, нынче утром тема проповеди — «Чернота черноты».

И голоса паствы отозвались:

- Та чернота — ее чернее нет, брат, ее чернее нет...
- В начале...
- В самом начале, — подхватили голоса.
- ...была чернота...
- Проповедуй сие...
- ...и было солнце...

- Солнце, Господи Боже...
- ...красно, точно кровь...
- Красно...
- А черное — оно... — выкрикнул проповедник.
- Кроваво...
- Я сказал: черное — оно...
- Проповедуй сие, брат...
- ...и черное не есть...
- Красно, Господи, красно: Он сказал: красно!
- Аминь, брат...
- Чернота тебя скроет...
- Да, быть посемену...
- Да, быть посемену...
- ... но чернота не скроет...
- Нет, не скроет!
- Она ведь...
- Она ведь, Боже...
- ... но еще нет.
- Аллилуйя...
- ... Она тебя приведет — славься, славься, Господь —  
в китово чрево...
- Проповедуй сие, добрый брат...
- ... и глянется тебе...
- Господи помилуй!
- Даже старая дева!
- Чернота тебя сотворит...
- Черным...
- ...или тебя растворит.
- Истинно так, верно, Боже?
- И в этот миг на меня рывкнул чей-то голос-тромбон:
- Ступай отсюда, болван! Измену замыслил?
- И я поспешил отойти, заслышав стенания все той же старухи, что пела спиричуэлс:

— Похули Бога, малой, и умри.

Я прирос к месту и обратился к ней с вопросом: что, дескать, стряслось?

— Уж как я крепко любила хозяина своего, малой, — ответила она.

— Вместо того чтобы ненавидеть, — заметил я.

— Он сыновей мне подарил, — сказала она, — и я, любя сыновей, научилась любить их отца, хотя по-прежнему его ненавидела.

— Мне тоже знакома амбивалентность, — сказал я. — Она меня сюда и привела.

— И что это за птица?

— Да ничего, всего лишь слово, которое не проясняет сути. Отчего ты горюешь?

— Как же мне не горевать, коли он помер, — сказала она.

— Тогда ответь: кто это хохочет там, наверху?

— Да сынки мои. Рады-радешеньки.

— Что ж, их тоже можно понять, — сказал я.

— Я и сама смеюсь, только с горя. Сулил он свободу нам дать, но так и не сподобился. А все ж любила я его...

— Любила? Ты хочешь сказать?..

— Вот-вот, однако еще дороже мне было другое.

— И что же?

— Свобода.

— Свобода, — повторил я. — Наверное, свобода проявляется через ненависть.

— Ан нет, малой: через любовь. Я любила — и яду ему подсыпала, вот он и скукожился, будто яблоко, морозом побитое. А иначе сыновья мои покروшили б его заточками.

— Где-то здесь неувязка, — сказал я. — У меня даже мысли путаются.

И хотел еще кое-что добавить, но хохот наверху сделался, на мой слух, чересчур громким и горьким; я попытался было

от него сбежать, да не смог. На выходе меня охватило неодолимое желание расспросить, что же такое свобода, и я вернулся. Старая певица сидела, обхватив голову ладонями; лицо ее, коричнево-замшевого цвета, было исполнено печали.

— Скажи-ка, мать: а что такое вообще эта свобода, которая так сильно тебе понравилась? — опрометчиво любопытствовал я.

Она удивилась, потом призадумалась, потом растерялась.

— Запомнявала, малой. Мысли путаются. То одно мнится, то другое. Голова кругом идет. Сдается мне, это оттого, что в мозгах уйма всего скопилась, а как высказать — не знаю. Но жить с этим ох как нелегко, малой. Слишком уж много всякого на мою долю выпало, а срок мой слишком короток. Хвори, что ль, какие меня губят. Перед глазами плывет: шаг сделаю — и хлоп оземь. А если не хвори меня доконают, так сынки мои: им лишь бы хохотать да замышлять, как весь белый люд извести. Ожесточились, вот ведь какая штука...

— А что там насчет свободы?

— Отстань, малой, уходи, голова раскалывается!

Оставил я ее в покое — у меня у самого уже в голове помутилось. Но ушел недалеко.

Откуда ни возьмись появился один из сынков, здоровенный, шести футов ростом детина, и врзал мне кулачищем.

— Что за дела, мэн? — вскричал я.

— Ты маму до слез довел!

— Это чем же? — Я увернулся от нового тумака.

— Расспросами своими, чем же еще? Вали отсюда и держись подальше, а будут еще какие вопросы — сам себя попросай!

Его пальцы сдавили мне горло холодной железной хваткой, да так, что я уж думал, задохнусь, но в конце концов он меня отпустил. Шатался я, как одурелый, а музыка истерически била по ушам. На улице стемнело. Когда в голове

прояснилось, я побрел по узкому неосвященному переулку; сзади мерещился стук торопливых шагов. Боль не отступала, и все мое существо пронизывала глубинная жажда безмятежности, покоя и тишины — недостижимого, как я чувствовал, состояния.

Начать с того, что труба ревела как оглашенная, и ритм был чересчур тревожен. Потом трубу стал перекрывать бит ударных, подобный биению сердца: от этого заложило уши. Невыносимо хотелось пить, а вода шумно бурлила в холодном водоводе: пробираясь на ощупь, я касался его пальцами, но сделать остановку и оглядеться не давали преследовавшие меня шаги.

— Эй, Рас, — окликнул я. — Это ты, Крушитель? Райнхарт?

Никакого ответа; только эти размеренные шаги за спиной. В какой-то момент я решил перейти на другую сторону, но меня чуть не сбила ревущая автомашина — промчалась мимо и кожу мне с голени содрала.

Торопливо устремляясь ввысь, каким-то чудом я вырвался из этой оглушительной преисподней и лишь услышал, как Луи Армстронг бесхитростно вопрошает:

«Моя ль вина,  
Что кожа, как тоска, черна?»

Вначале мне стало боязно: эта знакомая музыка требовала действий, причем таких, которые мне недоступны, но еще помедлив там, в подземелье, я, быть может, и набрался бы смелости действовать. Впрочем, теперь я знаю, что на самом деле мало кто слушает такую музыку. Сидя на краешке стула, я обливался потом, как будто каждая из тысячи трескот шестидесяти девяти моих лампочек превратилась в киношный «солнечный» прожектор на уникальной съемочной площадке, где Рас и Райнхарт снимают сцену допроса с особым пристрастием. Меня покидали силы; можно было подумать, я битый час задерживал

дыхание, пребывая в состоянии ужасающей безмятежности, какая приходит после острого многодневного голода. И все же для человека невидимого такой опыт был до странности ценен: слышать молчание звука. Я открыл в себе непознанные доселе принуждения своего естества, хотя и не мог ответить им «да». Однако впоследствии я больше не прикладывался к марихуане, причем не потому, что она вне закона, а потому, что обрел способность видеть, что творится за углом (для того, кто невидим, это не редкость). Но слышать то, что творится за углом, — это чересчур: ты лишаешься способности к действию. Однако, вопреки Брату Джеку и всему грустному, утраченному периоду Братства, единственное, во что я верю, — это действие.

Нужна дефиниция — извольте: спячка есть тайная подготовка к более явному действию.

А кроме того, наркота полностью разрушает ощущение времени. Случись такое со мной, я бы, наверное, однажды спозаранку не успел увернуться от желто-рыжего трамвая или от желчного автобуса! Или, чего доброго, позабыл бы выползти из своей берлоги и упустил момент действия.

Покамест я доволен своей жизнью под лучами «Монополейтед лайт энд пауэр». Коль скоро вы меня нипочем не узнаете даже в случае самого близкого контакта и всяко не поверите в мое существование, могу от вас не таиться: я подключился к электросети многоэтажного дома и нырнул к себе в подполье. До той поры жил я во мраке, куда меня загнали, а нынче прозрел. Я осветил черноту своей невидимости — и наоборот. И включил себе невидимую музыку изоляции. Последняя фраза странновато звучит, да? Но ошибки в ней нет просто потому, что музыка обычно слышна и редко бывает зримой — ну, быть может, для музыкантов. Не может ли это побуждение записать незримость черным по белому свидетельствовать о стремлении создать музыку

из незримости? Но ведь я оратор, возмутитель спокойствия... Даже сейчас? Нет, был и, вероятно, снова буду. Как знать? Не всякая болезнь к смерти, и невидимость — не к смерти.

Так и слышу, как вы изрекаете: «Вот ведь жуткий, безответственный подонок!» Спешу с вами согласиться: так оно и есть. Я такой безответственный тип, каких свет не видывал. Безответственность — составная часть моей невидимости: откуда ни глянь, увидишь только отрицание. Но перед кем надлежит мне отвечать, да и с какой стати, раз вы меня в упор не видите? Погодите, вы еще не знаете истинных масштабов моей безответственности. Ответственность базируется на признании, а признание — одна из форм согласия. Взять хотя бы того субъекта, которого я едва не прибил: на ком лежит ответственность за это чудом не состоявшееся убийство — на мне? Я так не думаю — и отказываюсь так думать. На это я не подпишусь. Вы на меня это не повесите. Он на меня натолкнулся, он меня оскорбил. Разве не следовало ему, ради своей же личной безопасности, признать мою истерию, мой «потенциал опасности»? Он, скажем так, заблудился в мире грез. Но разве не сам он управлял этим миром грез (который, увы, до боли реален!), разве не сам он меня оттуда вычеркнул? И если б он докричался до полицейских, разве не меня повязали бы как правонарушителя? Да, да, да! Позвольте с вами согласиться, это я проявил безответственность, ибо готов был пустить в дело нож для защиты высших интересов общества. Когда-нибудь такое недомыслие ввергнет нас в трагическую пучину. Все мечтатели и сомнамбулы должны расплачиваться, и даже невидимая жертва ответственна за судьбы других. Но я стряхнул с себя эту ответственность, запутавшись в несовместимых понятиях, что жужжали в мозгу. Струсил...

Но моя ль вина, что всем тоска видна? Уж потерпите.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Было это давно, лет двадцать назад. Всю жизнь я чего-то искал, и, куда бы ни подался, кто-нибудь непременно начинал мне втолковывать, чего я ищу. Объяснениям этим я верил, притом что они зачастую противоречили друг другу, а порой даже сами себе. Я был наивен. Искал себя, а вопросы задавал кому угодно, только не себе, хотя ответить на них мог только один человек — я сам. Много воды утекло с тех пор, бесчисленные надежды тяжелым бумерангом прилетели обратно, прежде чем до меня дошло то, что любому, наверное, очевидно с молодых ногтей: я — это я и никто другой. Но сперва мне пришлось сделать одно открытие: я — человек невидимый!

А ведь я — не какой-нибудь каприз природы или истории. При прочих равных (или неравных) условиях мое появление на свет было предрешено загодя — лет восемьдесят пять назад. Мои деды и бабки были рабами, и я этого не стыжусь. А стыжусь лишь того, что когда-то я их стыдился. Лет восемьдесят пять назад им объявили: вы свободны, вы едины со всеми прочими жителями нашей страны в том, что касается общего прогресса, а во всем, что касается общественной жизни, — самостоятельны, как пальцы на одной руке. Они поверили. И возликовали. Остались на своих местах, усердно трудились и отца моего приучили жить так же. Но дед мой был строптив. Дед был со странностями, и я, сказывают, весь в него. Он, дед мой, вечно мутил воду. Лежа на смертном одре, призвал он к себе моего отца и выговорил:

— Сын, завещаю тебе, когда меня не станет, продолжить битву за правое дело. Я никогда тебе не говорил, но бытие

наше — это война, и я в ней предателем был, лазутчиком, с тех самых пор, как сдал оружие в годы Реконструкции. Так и ты: положи голову в пасть льва — и не вынимай. Тверди «да-с», чтоб их одолеть, улыбайся, чтоб выбить у них почву из-под ног, уступай, покуда они не перемерут и род их не прекратится, отдавай себя им на съеденье — покуда их не стошнит, покуда не лопнут.

Тогда все решили, что дед тронулся умом. Он ведь всегда и во всем был тишайшим из людей. Младших ребятишек выставили из комнаты, задернули шторы, прикрутили фитиль, да так, что пламя стало по-стариковски сипеть.

— И мелюзгу этому научи, — с жаром прошептал дед; и умер.

Но мою родню эти прощальные слова взбудоражили сильнее, чем дедова смерть. Словно бы он и не умер вовсе — настолько слова его всех растревожили. Мне строго-настрого наказали выбросить из головы его заветы, и, по правде сказать, здесь я впервые повторяю их за пределами семейного круга. Но при всем том они подействовали на меня с невероятной силой. Какой смысл вкладывал в них дед, я так до конца и не понял. Дед был неприметным старичком, никому не досаждал, но перед смертью назвал себя предателем и лазутчиком, а о своей кротости говорил, будто об опасной диверсии. Эта загадка, так и оставшаяся без ответа, глубоко засела у меня в подкорке. Когда дела мои шли гладко, я вспоминал деда с ощущением вины и неловкости. Получалось, будто я наперекор себе живу по его заветам. И еще того хуже — меня за это любят. Я удостоивался похвалы самых что ни на есть белоснежных горожан. Меня хвалили, как прежде — моего деда, за образцовое поведение. А я не мог взять в толк: где же дед усмотрел предательство? Когда меня нахваливали за примерное поведение, мне становилось не по себе: как будто я иду против

желаний белых; догадайся они об этом — стали бы требовать от меня обратного: чтобы я озлобился и ходил мрачнее тучи, — вот что было бы им на руку, а так они просто-напросто обманывались на мой счет. Я боялся, что когда-нибудь во мне все же разглядят предателя, тут-то мне и придет конец. Впрочем, еще больше я опасался вести себя как-нибудь иначе: такое бы им совсем не нравилось. Дедов наказ довлел надо мной, как проклятье. К выпускным торжествам я подготовил речь, в которой доказывал, что смирение — не только скрытый залог прогресса, но и его суть. (Сам я, конечно, не разделял такого мнения — как можно, памятуя о дедовых заветах? — но считал, что оно мне на руку.) Выступление мое имело огромный успех. Меня расхваливали на все лады и даже пригласили выступить на встрече самых уважаемых белых горожан. Для всей нашей общины это стало подлинным событием.

Произошло все это в главном танцевальном зале лучшей гостиницы. Уже на месте я выяснил, что мое выступление приурочено к мужской сигарной вечеринке; раз уж я все равно там оказался, мне посоветовали заодно принять участие в баталии, которой развлекут собравшихся мои однокашники. Баталия значилась первым номером.

Все городские толстосумы явились в смокингах, обедались закусками, прихлебывали пиво и виски, курили черные сигары. Зал был просторный, с высокими потолками. С трех сторон разборного боксерского ринга ровными рядами стояли стулья. Четвертая сторона оставалась незагороженной: там сверкал паркет. У меня, кстати, сразу возникли опасения насчет этой баталии. Не потому, что я чурался потасовок, а потому, что недолголюбивал остальных участников. Парни подобрались хулиганистые, не обремененные дедовым проклятьем. Никто бы не усомнился в их крутизне. А я, кстати сказать, подозревал, что участие

в баталии принизит важность моей речи. В то время — еще не осознав своей невидимости — я рассматривал себя как потенциального Букера Вашингтона. Но если уж на то пошло, те парни — а было их девять человек — тоже не питали ко мне особого расположения. В каком-то смысле я ставил себя выше каждого из них, и мне не понравилось, что всех нас вместе запихнули в лифт для obsługi. А им точно так же не понравилось мое присутствие в кабине. Мало этого, пока мимо проплывали залитые теплым светом этажи, у нас вспыхнула перепалка: якобы, согласившись на участие в баталии, я не дал подзаработать кому-то из их компании.

Из лифта через холл в стиле рококо нас провели в подсобку и велели переодеться в спортивные трусы. Каждому выдали по паре боксерских перчаток и направили в большой зеркальный зал; при входе мы настороженно огляделись и перешли на шепот, чтобы случайно себя не выдать, хотя в зале было шумно. В воздухе висел сигарный дым. Да и виски лился рекой. Я с изумлением заметил, что кое-кто из первых лиц города уже сильно навеселе. Кого там только не было: банкиры, адвокаты, судьи, врачи, начальники пожарной службы, преподаватели, коммерсанты. Даже один пастор — из самых модных. Впереди что-то происходило, но нам не было видно. Томно подвывал кларнет, мужчины слушали стоя и нетерпеливо проталкивались вперед. Сбившись в плотную кучку, мы соприкасались голыми торсами и уже обливались потом в предчувствии схватки; но важные персоны все сильнее возбуждались от чего-то такого, что по-прежнему было скрыто от наших глаз. И вдруг я услышал, как школьный инспектор, который и обязал меня сюда явиться, прокричал:

— А где же наши баклажанчики, джентльмены? Ну-ка, подать их сюда!

Нас стали выталкивать вперед; здесь еще сильнее несло табаком и виски. В конце концов мы оказались в нужном месте. Я чуть не напрудил в штаны. Вокруг сомкнулось море лиц: и враждебных, и довольных, а в центре, прямо перед нами, стояла роскошная блондинка — нагишом. Повисла мертвая тишина. Меня обдало струей холодного воздуха. Я попятился, но сзади и по бокам стояла людская стена. Кое-кто из парней потупился и бился в ознобе. Меня захлестнуло безотчетное чувство вины и страха. Зубы стучали, туловище покрылось гусиной кожей, колени дрожали. Но я так ошалел, что никакими силами не мог оторвать от нее глаз. Если за это мне пришлось бы заплатить слепотой, я бы все равно тарашился. Волосы у нее желтели, как у потешной ярмарочной куклы; лицо, густо нарумяненное и напудренное, походило на нелепую маску, а запавшие глаза были подведены лиловым, как зад бабуина, цветом. Меня так и тянуло в нее плюнуть, а взгляд сам собой медленно обшаривал ее тело. Упругие груди были круглыми, как купола индуистских храмов; стоя совсем близко, я различал шелковистую фактуру кожи и жемчужные капельки пота вокруг торчащих бутонами сосков. Меня обуревало множество разных желаний: броситься прочь из зала и провалиться сквозь дощатый пол; подойти к ней вплотную и всем телом загородить от своих и чужих взглядов; приласкать и уничтожить, спрятаться от нее и при этом погладить то местечко внизу живота, где виднелась миниатюрная татуировка американского флага — как раз над основанием перевернутого треугольника. Мне грезилось, будто из всех присутствующих ее равнодушные глаза выхватывают меня одного.

Вскоре начался ее медленный, чувственный танец; дым сотни сигар тончайшей вуалью обволакивал женское тело. Казалось, с грязно-серой поверхности неведомого моря

манит меня к себе прекрасная дева-птица. Я не помнил себя. А потом услышал все те же стоны кларнета и вместе с ними — выкрики отцов города. Одни грозились нас покарать за то, что мы глазеем, другие — за то, что отводим глаза. По правую руку от меня один из наших парней грохнулся в обморок. Кто-то из гостей схватил со стола серебряный кувшин, навис над бесчувственным телом, окатил беднягу водой со льдом и, рывком подняв на ноги, приказал двоим из наших поддерживать его в вертикальном положении, хотя у того бессильно моталась голова, а из толстых посиневших губ вырывались стоны. Еще один запросился домой. В нашей компании он был самым рослым, и темно-красные боксерские трусы не могли скрыть упрямый бугор, словно откликнувшийся на низкие, зазывные стоны музыки. Парень силился прикрыться боксерскими перчатками.

А блондинка без устали танцевала, едва заметно улыбаясь городским тузам, которые увлеченно наблюдали за ней, а сами исподволь ухмылялись нашему потрясению. Я увидел, как один известный коммерсант обшаривает ее голодным взглядом, выпятив слюнявые губы. При каждом покачивании пышных женских бедер этот громила с бриллиантовыми запонками в манжетах сорочки, вздутой круглым пузом, начинал приглаживать свои жидкие волосенки, обрамлявшие лысину, и, неуклюже воздев лапы, как пьяный самец панды, размеренно и похабно водил брюхом. Этот субъект был полностью одурманен. Музыка заиграла быстрее. С застывшим, отсутствующим лицом танцовщица дергалась в такт, а мужчины тянули к ней руки. Я видел, как их толстые пальцы впиваются в ее податливую плоть. Иные пытались их остановить, а женщина грациозно перемещалась по залу плавными кругами, увлекая за собой преследователей, которые оступались и поскальзывались на вощеном полу. Это было всеобщее помешательство.

С грохотом падали стулья, спиртное выплескивалось из стаканов, за танцовщицей летели вопли и хохот. Толпа настигла ее у дверей и принялась подбрасывать в воздух, как у студентов заведено подбрасывать слабаков; и, помимо улыбки, застывшей на алых женских губах, я заметил кое-что еще: ужас и омерзение у нее во взгляде, почти такие же, как у меня и у некоторых парней. Пока я тарашился, ее подбросили дважды; груди будто расплющивались о воздух, а сама она вертелась, беспомощно дрыгая ногами. Те, что потрезвее, кое-как помогли ей вырваться. А мы с парнями сорвались с места и бросились в сторону подсобки.

Некоторые все еще плакали, истерили. Но как мы ни пытались смяться, нас останавливали и гнали обратно на ринг. Деваться было некуда. Мы вдсятером пролезли под канатами и даже не всполошились при виде широких белых повязок. Вжимаясь спинами в канаты, мы застыли; тут один из зрителей, вероятно, сжалился и выкрикнул нечто ободряющее. Кое-кто из нас изобразил улыбку.

— Видишь вон того парнягу? — сказал мне другой мужчина. — Как услышишь гонг — шуруй прямиком к нему и бей под дых. А не завалишь, так я сам тебя завалю. Не нравится мне его мурло.

Примерно то же самое внушали каждому. Потом нам завязали глаза. Но я и тут молча репетировал подготовленную речь. Каждое слово у меня в уме представало ярким, как пламя. Когда мне завязывали глаза, я насупил брови, чтобы повязка впоследствии немного ослабла.

Но теперь меня обуял слепой ужас. Темнота была мне непривычна. Я словно угодил в чулан, кишевший ядовитыми змеями. Кругом галдели пьяные голоса, требуя начинать схватку века.

— Хватит тянуть резину!

— Пустите меня к этому дюжему нигеру!

В общем гаме я пытался различить голос школьного инспектора — думал, если услышу хоть какие-нибудь знакомые нотки, будет не так страшно.

Кто-то завопил:

— Пустите меня к этим черным сучатам!

— Нет, Джексон, нет! — гаркнул другой голос. — Эй, кто-нибудь, помогите удержать Джека.

— Хочу добраться до этого желтушного нигера. Руки-ноги ему повыдергать! — орал первый.

Я стоял у канатов и дрожал. В ту пору был я, как они выражались, желтушным, и этот тип, судя по его рыку, готовился сожрать меня, как желтый имбирный кекс.

В зале шла какая-то возня. Там грохотали сбитые стулья, кто-то кряхтел, будто от нечеловеческой натуги. Мне хотелось видеть — нестерпимо, как никогда. Но тугая повязка толстым струпом приросла к коже, и, когда я попытался сдвинуть ее руками в перчатках, чей-то голос рявкнул:

— Эй ты, черномазый! Не сметь!

— Дайте гонг, не то Джексон этого вонючку раньше времени прибьет! — прогремел мужской голос во внезапно наступившей тишине.

Я услышал, как ударил гонг и как зашаркали, приближаясь к нам, штиблеты.

Чья-то перчатка стукнула меня по голове. Я развернулся и наугад со всей дури врезал тому, кто оказался рядом; удар отозвался во всей руке, до самого плеча. А потом мне показалось, будто все девять парней набросились на меня стаей. Удары сыпались со всех сторон, я отбивался как мог. Доставалось мне так, что я подумал: не у меня ли одного на ринге завязаны глаза и не отказался ли этот Джексон от своего плана прикончить меня в одиночку?

С завязанными глазами невозможно было рассчитывать свои движения. Я потерял всякое достоинство. Спотыкался,

будто карапуз или пьянчуга. Дым сгушался; при каждом ударе он обжигал и стягивал мне легкие. Слюна превратилась в горячий, горький клей. Чужая перчатка угодила мне в лицо, рот наполнился теплой кровью. Кровь выплескивалась наружу. Я уже не понимал, от чего взмогло мое тело — от пота или от крови. В затылок тоже прилетел мощный удар. Не устояв на ногах, я грохнулся головой о ринг. Вселенскую черноту под повязкой пронзили голубые молнии. Я лежал плашмя, изображая нокаут, но кто-то рывком вздернул меня на ноги: «Давай-давай, черный! Ишь, закосить решил!» Руки мои налились свинцом, голова пухла от ударов. Кое-как я заковылял в сторону и вцепился в канаты, чтобы отдышаться. Но тут же получил удар в живот — и снова рухнул, причем с таким ощущением, будто дым сделался острым, как нож, и выпустил мне кишки. Со всех сторон меня пинали ноги дерущихся, но в конце концов я поднялся и, как ни странно, увидел, что в дымно-синем воздухе под барабанную дробь ударов извиваются пьяными плясунами черные потные фигуры.

Дрались иступленно. На ринге царил полный хаос. Каждый дрался со всеми сразу. Ни одной группы не хватало надолго. Двое, трое, четверо били одного, потом принимались мутузить друг друга и подвергались нападению со стороны. Удары наносились ниже пояса, по почкам, как закрытой, так и раскрытой перчаткой; но теперь у меня один глаз выглядывал из-под повязки, а потому было не так страшно. Передвигался я осмотрительно, уворачивался от ударов, но не от всех, чтобы себя не выдать, и метался от одной свалки к другой. Наши парни, как слепые, пугливые крабы, сгибались, чтобы прикрыть животы, втягивали головы в плечи и нервно выпрямляли перед собой руки; кулаки в перчатках, подобно узловатым рожкам сверхчутких улиток, нервно пробовали на ощупь дымный воздух.

В одном углу я увидел парня, яростно молотившего пустоту; он ударил по столбику ринга и завопил от боли. Я увидел, как он согнулся, держась за ушибленную руку, и тут же рухнул от удара в незащищенную голову. По-прежнему примыкая то к одной кучке, то к другой, я делал шаг вперед, наносил удар и тут же отступал, а сам вталкивал на свое место других — под удары, предназначавшиеся мне. Дым терзал нутро; ни гонга, знаменующего трехминутные перерывы, ни объявления раундов не было — никакого продыху. Зал вертелся вокруг меня: смерч огней, дыма и потных черных тел в кольце напряженных белых лиц. У меня хлестала кровь изо рта и из носа, стекая на грудь.

Мужчины вопили:

— Бей, черный! Выпусти ему кишки!

— Давай апперкот! Кончай его! Кончай долговязого!

Я нарочно упал — и тут же, как будто нас обоих сбили одним ударом, тяжело рухнул другой парень. Нога в боксерке въехала ему в пах: о туловище споткнулись те двое, что его сбили. Я откатился в сторону; меня чуть не стошнило.

Чем яростнее мы дрались, тем больше свирепела толпа. А я опять разволновался за свою речь. Как же я буду выступать? Оценят ли мои старания? Вручат ли какую-нибудь награду?

Дрался я машинально и вдруг заметил, что парни один за другим покидают ринг. Меня это удивило, а затем повергло в панику, словно я остался лицом к лицу с неведомой напастью. Потом до меня дошло. Ребята сговорились заранее. У них было заведено, что за приз бьются двое оставшихся. Я понял это слишком поздно. Ударил гонг, двое в смокингах подбежали к канатам и сдернули с меня повязку. Передо мной стоял Тэтлок, самый мощный из всей компании. Сердце у меня упало. Не успел еще стихнуть в ушах первый удар гонга, как раздался следующий, Тэтлок стремительно

ринулся на меня, и я, не придумав ничего лучшего, ударил его прямо в нос. Он продолжал наступать в облаке едкого запаха пота. Черное лицо застыло, живыми остались только глаза: в них горела ненависть ко мне, смешанная с ужасом от происходящего. Я перепугался. Мне предстояло выступать с речью, а он надвигался с таким видом, будто хотел вышибить из меня все слова. Я бил что есть мочи, раз за разом, но и пропускал его удары. И вдруг меня осенило. Когда мы вошли в клинч, я дал ему легкого тычка и шепнул:

- Падай — и забирай приз.
- Я тебе жопу порву, — прохрипел он.
- Им на потеху?
- Себе на потеху, сучонок.

Нам кричали, чтобы мы расцепились; от удара Тэтлока я развернулся вполоборота, и, как в кино, когда камера снимает динамичную сцену в неожиданном ракурсе, передо мной в облаке сизого дыма пронеслись горячечные лица с разинутыми ртами, от напряжения словно припавшие к земле. На миг Вселенная затрепетала, раскрылась, потекла, но в голове у меня тут же прояснилось, и передо мной вновь запыгал Тэтлок. А трепещущая тень у меня перед глазами оказалась его левой рукой, которая обстреливала меня короткими прямыми ударами. Снова повиснув на нем и вжавшись лбом в его потное плечо, я шепнул:

- Дам пять баксов сверху.
- Пошел ты!

Но мышцы у него слегка обмякли, и я шепнул:

- Семь?
- Мамке своей подай, — ответил он и засадил мне под сердце.

Не выпуская противника из клинча, я боднул его лбом и отступил. На меня посыпались удары. Я отвечал в безнадежном исступлении. Больше всего на свете мне хотелось

выступить с речью, потому как собравшиеся там люди, и только они, считал я, сумеют оценить мои способности, а из-за этого тупого клоуна все пойдет прахом. Я стал осторожничать: приближался, наносил одиночный удар и сразу отскакивал, пользуясь своим преимуществом в скорости. Удачный апперкот — и Тэтлок тоже поплыл; но тут раздался зычный голос:

— Я сделал ставку на того верзилу.

У меня чуть не опустились руки. Мысли заметались: что делать — драться до победного конца вопреки этому голосу? А состоится ли после этого моя речь, и не сейчас ли настало время проявить кротость, непротivление? Я на автомате продолжал плясать по рингу, но получил удар в голову, от которого правый глаз у меня чуть не выскочил из глазницы, как черт из табакерки, и вопрос решился сам собой. Зал сделался красным, и я не устоял на ногах. Пал я, как во сне: туловище апатично и привередливо выбирало место для приземления, однако настил, которому стало невтерпёж, рвался мне навстречу. В следующий миг я пришел в себя. Усыпляющий голос выразительно произнес: «ПЯТЬ». А я, лежа в тумане, следил, как багровое пятно моей крови превращается в глянцевую бабочку и утопает в грязно-серой брезентовой вселенной.

Тот же тягучий говор объявил: «ДЕСЯТЬ», меня подняли, оттащили в сторону и усадили на стул. В голове помутилось. Глаз нестерпимо болел, набухал с каждым оглушительным ударом сердца, а я задавался вопросом: допустят ли меня в таком виде до выступления? Весь мокрый, хоть выжимай; рот сочится кровью. Потом нас выстроили вдоль стены. Не обращая на меня никакого внимания, все поздравляли Тэтлока и гадали, кому сколько отвалят. Парень, разбивший руку о столб, лил слезы. Я поднял голову и увидел, что гостиничная обслуга в белых куртках складывает переносной ринг и на освободившемся месте расстилает

небольшой квадратный коврик. Не здесь ли состоится мое выступление, подумалось мне.

Тут нас позвал распорядитель вечера:

— Подтягивайтесь сюда за деньгами, ребята.

Мы бросились вперед; ковер был окружен рядами стульев, на которых, переговариваясь и хохоча, сидели зрители. Все, похоже, были настроены на дружеский лад.

— Деньги вон там, на ковре, — сообщил распорядитель.

И в самом деле: ковер был усыпан мелочью разного достоинства, однако тут и там валялось несколько смятых купюр. Но взбудоражило меня то, что среди монет кое-где поблескивали золотые.

— Все ваше, ребята, — сказал он. — Тут главное — не щелкать клювом.

— Не дрейфь, Самбо! — доверительно подмигнул мне какой-то блондин.

От волнения меня затрясло; даже боль отпустила. Хватать надо золотые и бумажки, решил я. Загребать обеими руками. Растолкаю тех, кто окажется рядом, и заслоню от них золотишко.

— Опускаемся на колени вокруг ковра, — скомандовал распорядитель. — Без моей команды не смей ничего трогать.

— Неплохая задумка, — донеслось до меня.

Мы, как было велено, неподвижно стояли на коленях с четырех сторон ковра. Распорядитель медленно поднял веснушчатую руку; мы не спускали с нее глаз. Я услышал:

— Нигеры как на молитву собрались.

— Внимание! — крикнул распорядитель. — Марш!

На синем узоре ковра я загодя заметил монету желтого металла, дотронулся до нее — и завопил вместе с теми, кто оказался рядом. Хотел отдернуть руку, но не тут-то было. Все тело пронзила неумолимая, обжигающая сила и трясла меня, как мокрого крысенок. Ковер был под напряжением.

У меня волосы встали дыбом, но я все же оторвал руку. Мышцы дергались, нервы будто скручивались и бренчали. Но я заметил, что кое-кого это не останавливает. Испуганно и стыдливо посмеиваясь, некоторые держались поодаль и сгребали монеты, раскиданные теми, кто бился в судорогах. Мужчины, нависая сверху, гоготали при виде нашей возни.

— Хватайте, черт вас дери, хватайте! — выкрикнул кто-то голосом басистого попугая. — Не отлынивайте!

Я бойко елозил по полу и собирал монеты, стараясь не отвлекаться на медяки, раз уж решил ограничиться золотыми и «зеленью». Резкими движениями рук смахивал деньги с ковра и, чтобы не так сильно било током, смеялся — как ни странно, это помогало. Потом нас принялись заталкивать на ковер. С неловкими смешками каждый старался вырваться и продолжать охоту за деньгами на расстоянии. Удержать нас оказалось трудно: взмокшие, мы выскользывали из рук преследователей. И вдруг я увидел, как одного парня, который лоснился от пота, что цирковой тюлень, подняли в воздух и бросили мокрой спиной на заряженный ковер; бедняга взвыл и буквально заплясал на спине, отбивая бешеную чечетку локтями; мышцы у него дергались, как у лошади в туче слепней. Наконец ему удалось откатиться на пол; весь серый, он бросился прочь из зала под оглушительный хохот зрителей, и никто не попытался его остановить.

— Берите же деньги, — кричал распорядитель. — Это честная американская наличность!

Мы гребли и хватали, гребли и снова хватали. Наученный опытом, я старался не подползать вплотную к коврам; но вдруг на меня откуда-то сверху жарко дохнули зловонным облаком ячменного перегара, и я уцепился за ножку стула. На стуле кто-то сидел, и я держался что было сил.

— Отвали, нигер! Отвали!

Надо мной нависла физиономия толстяка, пытавшегося оторвать меня от стула. Но удержать мое скользкое тело было не так-то просто, тем более что толстяк налился виски. Оказалось, это мистер Колкорд — хозяин сети кинотеатров и «увеселительных заведений». Раз за разом он меня хватал, но я выскользнул у него из рук. Завязалась настоящая схватка. Ножку стула я не выпускал, потому что ковра страшился больше, чем пьяного, и с удивлением поймал себя на том, что сам стараюсь опрокинуть его на ковер. Это была такая грандиозная затея, что я уже не мог от нее отказаться. Действовать старался исподволь, но, когда я схватил его за голень и попытался сдернуть со стула, он с гоготом встал и, уставясь мне в здоровый глаз совершенно трезвым взглядом, яростно пнул меня в грудь. Ножка стула вырвалась у меня из руки, и я отлетел на нешуточное расстояние. Ощущение было такое, словно меня бросили на жаровню с углями. Мне казалось, что я во веки веков не сумею отлепиться от ковра и во веки веков, до последнего вздоха, у меня будет гореть нутро, точно от взрыва. Но зато, думал я, скатываясь с ковра, все будет кончено в единый миг. Раз — и все.

Но нет: с этой стороны меня уже поджидали, нагнувшись на стульях, другие зрители, тоже налившиеся кровью. Видя, что ко мне тянутся их пальцы, я, словно неумело отбитый футбольный мяч, откатился обратно — на угли. В этот раз ковер подо мной, к счастью, съехал с места, монеты посыпались на пол, парни в давке бросились их подбирать, но распорядитель объявил:

— Все, ребята, хорош. Ступайте переодеваться, там же и деньги свои получите.

Я еле влачился — как мокрая тряпка. Будто мне всю спину исхлестали проводами.

Когда мы переоделись, в подсобку вошел распорядитель и выдал каждому из нас по пять долларов: исключение было

сделано только для Тэтлока — он получил десятку как продержавшийся на ринге дольше всех. Потом нам сказали выметаться. Ну все, подумал я, плакало мое выступление. И в отчаянии поплелся по темному переулку, но там меня остановили и развернули в обратную сторону. Я вновь оказался в главном зале, где зрители отодвигали кресла и собирались в группки для продолжения разговоров.

Распорядитель постучал по столу, призывая к тишине.

— Джентльмены, — начал он, — мы чуть не пропустили важный пункт программы. Причем весьма серьезный, джентльмены. Этот юноша был препровожден сюда для того, чтобы выступить с речью, которую он не далее как вчера произнес на своем выпускном вечере...

— Bravo!

— До меня дошел слух, что это самый смысленый парень во всем Гринвуде. Говорят, он знает больше заковыристых слов, чем карманный словарь.

Дружные аплодисменты, смех.

— Итак, джентльмены, прошу внимания.

Не дожидаясь, когда умолкнут смешки, я встал лицом к присутствующим; у меня пересохло во рту, поврежденный глаз пульсировал от боли. Начал я размеренно, однако у меня, по всей вероятности, сдавило горло, потому что из публики донеслись крики:

— Громче! Громче!

— Мы, представители молодого поколения, славим мудрость выдающегося политика и просветителя, — я перешел на крик, — который первым озвучил одну пламенную и мудрую притчу. С парусника, много дней блуждавшего по морю, вдруг завидели дружественное судно. С мачты сбившегося с курса парусника подают сигнал: «Воды, воды, умираем от жажды!» Дружественное судно сразу же отправляет ответный сигнал: «Черпните там, где стоите». Капитан

внял совету и приказал опустить за борт ведро, а когда его подняли, оно было полно кристально чистой пресной воды из устья реки Амазонки. Тем людям моей расы, которые считают, что им будет лучше в другой стране, или недооценивают важность дружеских отношений с белыми южанами, их ближайшими соседями, я хочу сказать: «Черпните там, где стоите. Черпните, дабы найти друзей среди представителей тех рас, которые вас окружают!»

Говорил я как заведенный, с большим пылом, и даже не замечал, что собравшиеся по-прежнему переговариваются и смеются, но под конец из-за сухости в горле и кровотокащего рта едва не задохнулся. Я зашелся кашлем и хотел прерваться, чтобы подойти к одной из высоких, наполненных песком латунных плевателей и отхаркаться, но не решился: как-никак, несколько человек, и в их числе школьный инспектор, меня слушали. Пришлось сглотнуть все это кровавое месиво и продолжить. (Ну и вынослив же я был в те годы! А сколько энтузиазма! Сколько веры в справедливое устройство мира!) Преодолевая боль, я заговорил громче. Но в публике все равно не смолкала болтовня, все равно не прекращался смех, как будто в зале сидели глухие с ватными затычками в грязных ушах. Пришлось добавить накала чувств. Я отключил слух и до тошноты давился кровью. Со вчерашнего дня речь будто растянулась в сто раз, но не позволяла выкинуть ни единого слова. Надо было сказать все, полностью донести смысл, передать каждую деталь, сохраненную в памяти. Но этим дело не ограничивалось. Стоило мне произнести какое-нибудь длинное слово, как из зала раздавались вопли с требованием повторить. У меня было выражение «социальная ответственность», и слушатели завопили:

- Как ты сказал, парень?
- Социальная ответственность.
- Что-что?

- Социальн...
- Громче!
- ...ответственность.
- Еще раз!
- Ответст...
- Повтори!
- ...венность.

По залу прокатился хохот, и я, немного сбившись — видимо оттого, что постоянно давился кровью, — случайно выкрикнул другое сочетание слов, которое постоянно клеймили в газетных передовицах и мусолили в частных беседах.

- Социальн...
- Ну? — заорали они.
- ...равенство.

В наступившей тишине смех завис, как дым. Я в недоумении тарашил глаза. Кругом нарастал недовольный ропот. В центре возник распорядитель. На меня сыпались враждебные выпады. А я ничего не понимал.

Из первого ряда сухонький усатый человечек протрубил:

- Ты не тараторь, а повтори с расстановкой, сынок.
  - Что именно, сэр?
  - Да то, что сейчас выдал.
  - Социальная ответственность, сэр, — сказал я.
  - Умничать надумал, да, мальчик? — в общем-то беззлбно спросил он.
  - Нет, сэр!
  - А «равенство» у тебя по ошибке с языка слетело, правда ведь?
  - Конечно, сэр, — был мой ответ. — Я кровь сглатывал.
  - Говори-ка помедленней, чтобы всем понятно было.
- Мы готовы тебя оценить по достоинству, но и ты знай свое место. Ладно, давай дальше.

Мне стало страшно. Хотелось унести ноги, но хотелось и договорить до конца, а я боялся огрести по полной.

— Благодарю вас, сэр, — выдал я и продолжил с того места, где прервался, по-прежнему не в силах привлечь внимание зала к своей речи.

И все же, закончив, я был вознагражден бурными аплодисментами. К моему удивлению, вперед вышел школьный инспектор с каким-то свертком, упакованным в белую папиросную бумагу, жестом призвал мужчин к тишине и начал:

— Джентльмены, теперь вы убедились, что я не перехвалил этого парня. У него есть ораторский дар; настанет день — и он поведет свой народ по верному пути. Не мне вам объяснять, какое это имеет значение в наше время. Перед нами хороший, умный юноша, и, чтобы поощрить его развитие в должном направлении, позвольте мне от имени Совета по образованию вручить ему в качестве награды этот...

Он сделал паузу и, развернув бумагу, продемонстрировал новенький портфель из отливающей блеском телячьей кожи.

— ...этот первоклассный атрибут, предоставленный магазином Шеда Уитмора. Юноша, — обратился он ко мне, — прими эту награду и береги ее. Развивайся в прежнем направлении, и в один прекрасный день этот портфель заполнит важные документы, которые помогут определить судьбы твоего народа.

От волнения у меня даже не получилось должным образом выразить свою благодарность. К портфелю ниткой тянулась моя кровавая слюна и скапливалась на нем лужицей в форме неведомого континента, которую я поспешил стереть. Я ощущал в себе такую значительность, о какой прежде даже не помышлял.

— Открой и посмотри, что в нем, — сказали мне.

Вдыхая запах новехонькой кожи, я повиновался: дрожащими пальцами открыл портфель и увидел внутри какой-то

официальный документ. Мне присудили стипендию на обучение в местном колледже для негров.

У меня навернулись слезы, и я второпях покинул ораторское место.

Меня переполняла радость. Ее не омрачило даже то, что добытые на ковре золотые на поверку оказались латунными жетонами с рекламой какого-то автомобиля.

Домашние мои ликовали. На другой день к нам потянулись соседи, чтобы меня поздравить. Я больше не испытывал трепета перед делом, чье предсмертное проклятье отравляло, считай, все мои достижения. С портфелем в руке я стоял под его фотографией и торжествующе улыбался, глядя в черное, невозмутимо-крестьянское лицо. Оно меня завораживало. Куда бы я ни двинулся, оно не сводило с меня глаз.

В ту ночь мне снилось, будто мы с ним сидим в цирке и, какие бы номера ни выкидывали клоуны, дед не желает смеяться. А потом он велит мне открыть портфель и прочесть то, что внутри; я открываю и вижу официальный конверт с гербовой печатью штата, в этом конверте — другой, в том еще один, и так без конца; я уже с ног валюсь от усталости.

— Один конверт — один год, — изрекает дед. — Ну-ка, распечатай вот этот.

Так я и сделал; внутри обнаружился гравированный документ с кратким текстом золотыми буквами.

— Читай, — приказал дед. — Вслух.

— «Для Предъявления Ответственным Лицам, — выразительно прочел я. — Толкайте Его Вперед! Этот Нигер-Бой Справится!»

Тут я проснулся; у меня в ушах гремел стариковский смех. (Этот сон, во всех подробностях, преследовал меня еще много лет. Но в ту пору смысл его от меня ускользал. Мне пришлось сперва отучиться в колледже.)



[Почитать описание, рецензии  
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

